

Евгений ЕВТУШЕНКО

В этом году в городе Кёльн состоялось — не боюсь этого слова общенациональное событие — чествование памяти Льва КОПЕЛЕВА. Вел вечер крупнейший тележурналист Клаус Беднарц, когда-то организовавший знаменитый диалог Копелева и Бёлля. Присутствовали руководители многих земель Германии, видные общественные деятели, писатели, студенты, школьники. Из России, как и следовало ожидать по сегодняшнему отношению нашего руководства к культуре, которое выше полсы в своих духовных запасах не поднимается, никто не соизволил приехать — была только дочь Раисы Орловой. Состоялось открытие музея Льва Копелева. Этот литературный вечер был передан по германскому национальному телевидению, что стало почти непредставимым в России, откуда серьезная литература, за редкими исключениями, изгнана. Я прочел новое стихотворение и предложил поставить совместный памятник двум ближайшим друзьям — Генриху Бёллю и Льву Копелеву. Их дружба символизирует поворот во взаимоотношениях России и Германии. Немцы горячо подхватили эту идею. Но почему не поставить такой памятник в Москве?

На тропинке к Генриху Бёллю

В 1994 ГОДУ мы шли со Львом Копелевым по тропинке кёльнского кладбища к могиле Генриха Бёлля. Было пустынно, и слышался только скрип гравия под нашими шагами. Но откуда-то из-за горизонта прошлого, казалось, доносился топот сотен тысяч оккупантских сапог по русской пылающей земле, среди которых были и сапоги молодого ефрейтора вермахта Бёлля. А с советской стороны линии фронта, скрытой клубами черного дыма, из рупора агитационной машины, казалось, еще слышался голос молодого комиссара Красной Армии Копелева по-немецки. История когда-то очень старалась, чтобы эти двое возненавидели друг друга. Но историю делают только те, кто ей не подчиняется. Можно ли было тогда, во время войны, ослеплявшей русских и немцев взаимоненавистью, представить, что когда-нибудь эти двое станут самыми близкими друзьями? Их выбрала судьба, чтобы этой дружбой начать новую эру Европы. Первым письмом любви к человечеству, чудом переброшенным через железный занавес, стал роман Пастернака «Доктор Живаго». Живым продолжением книги Пастернака стала братская дружба Копелева и Бёлля. Дети двух тоталитарных режимов, своим собственным примером они предложили, как альтернативу патриотизму националистическому — патриотизм человечества.

Бёлль стал первым немецким послевоенным писателем, которым начала влюбленно зачитываться российская интеллигенция, открывая в его книгах тех оккупантов, под солдатской формой которых бились вовсе не палаческие, а человеческие сердца. Копелев, исключенный из партии и арестованный за так называемую «жалость к врагам», когда он заступался за насилуемых немецких женщин, стал для многих немцев живым доказательством, что далеко не все русские — жестокие мстительные варвары. Когда-то в обеих странах безжалостность возводили в ранг мужества, а жалость хотели исключить из престижа нации. Но оказалось, что именно жалость, милосердие, становящиеся гражданским мужеством, спасает национальный облик, да и лицо всего человечества.

Бёлль помог русским не возненавидеть Германию, а Копелев помог немцам не возненавидеть Россию. О чем же мы говорили тогда, в 1994 году, с Копелевым на тропинке, ведущей к Генриху Бёллю?

О войне в Чечне, о тогда еще недавних событиях октября 1993-го, когда наши танки начали стрелять по собственному парламенту.

— Как хорошо, что Андрей этого не увидел... — горько вздохнул Копелев, и я подумал о том, что иду сейчас рядом с одним из последних, оставшихся после смерти Сахарова, могикан идеализма. Копелев не предал своих прежних идеалов — они предали его. Но он не мог жить без идеалов, и его душа вырабатывала их сама из единственного оставшегося в ней страха — страха оказаться пустой. Он стал уникальным в истории человечества двойным послым. В России он был послым германской культуры, а в Германии послым российской культуры. Эпоха сделала все, чтобы выбить из него идеализм, но ей это оказалось не по силам. Нет страшнее циников, чем бывший идеалист. Но он не стал ни циником, ни даже пессимистом ни по отношению к России, ни к человечеству в целом, хотя похоронил столько собственных иллюзий.

Однажды в Москве мафия устроила взрыв на кладбище во время похорон. Мне рассказывали, как в воздух взлетели осколки взорванных крестов, надгробных камней, оторванные руки и ноги, венки и даже труба убитого музыканта с застрявшей в ней недоитранной траурной мелодией.

Двадцатый век тоже заканчивается взрывом на кладбище столичных наших похоронных иллюзий, и в воздухе, как в замедленной съемке, кружатся корона последнего русского царя и ленинская кепка, и сталинская трубка, из которой, кажется, еще идет дымок, рука фюрера, вскинутая для очередного «Хайля», детские ботиночки из Освенцима, чья-то нога с биркой, ставшая почти стеклянной в магаданской вечной мерзлоте, а теперь к ним прибавились и вышитая красным крестиком крошечная албанская varejka, сквозь дырочку в которой видны детские пальчики, и розовая пуховка юной тележурналистки-сербки, которой она припудривала лицо перед выходом в эфир за мгновение до того, как была убита натовской бомбой.

Одна из самых дорогостоящих иллюзий, с которой пора расстаться навсегда, — это иллюзия возможности построения совершенного общества... Она стоила миллионы и миллионы жизней. Самозванные совершенствователи неизвестно по какому праву считали и считают, что им позволено добиваться совершенства, каким они его представляют, любыми насильственными методами.

По трагическому совпадению я родился именно в том самом голодном, страшно 1933 году, печально прослав-

ленном насильственной коллективизацией. Я, молодой поэт, познакомился году в 1956-м с совсем другим Львом Копелевым — чья вторая половина жизни стала искуплением за первую. Лев Копелев и автор великой книги о женских лагерях Евгения Гинзбург, посланцы из того, другого, запроволочного мира, где бесследно исчез мой дедушка Ермолай Евтушенко, стали для меня учителями жизни, давая мне свои и чужие самиздатские рукописи, что после короткой «оттепели» начинало снова становиться опасным.

Одна из жизней изначально искреннего коммуниста Льва Копелева была жизнью активиста-совершенствователя от чистого сердца, но он оставил нам поучительную исповедь, что насильственное совершенствование всегда заканчивается нечистой совестью. Цитата из «Хранить вечно», глава 6: «даже когда я сомневался... когда видел, как обирали крестьян зимой 1932—33 года, ведь и сам участвовал в этом, ходил, рыскал, искал спрятанный хлеб железным шупом... тыкал в землю, где яма с хлебом... и старался не слышать, как воют бабы, как визжат малыши... Тогда я был убежден, что вершу великую необходимость социалистического преобразования деревни, что им же потом лучше будет, что их горе, их страдания от собственной несознательности или от происков классового врага, что те, кто меня послали, а с ними и я... — лучше самих крестьян знаем, где им нужно жить, что сеять, что пахать... И в страшную весну 1933 года, когда я видел умирающих от голода, видел детей и женщин, опухших, посиневших, еще дышавших, но с уже погасшими мертвенно равнодушными глазами, и трупы, десятки трупов. Видел и все-таки не сошел с ума, не покончил с собой, не проклял тех, кто обрек на гибель «несознательных крестьян», не отрезал от тех, кто зимой меня посылал отнимать у них хлеб... Фанатические приверженцы самых благородных идеалов, суля вечное счастье потомкам, безжалостно губят современников, даруя райское блаженство мертвым, становятся неумолимыми палачами и бессовестными лжецами. А при этом себя считают добродетельнейшими и честнейшими подвижниками и убеждены, что злодействуют во имя будущего добра и лгут ради вечных истин.

Und willst du nicht mein Bruder sein
So schlag ich dir den Schadel ein,
— поется в ландскнехтских куплетах. Точь-в-точь так же думали и поступали мы — фанатичные послушники воспитательных идеалов коммунизма.

За победу над страхом

...У КОПЕЛЕВА была медаль «За победу над фашистской Германией». Но Копелев был одним из тех первых, кто заслужил медаль «За победу над страхом». Он

*«Там, где двое или трое
собрались во имя Мое,
Я с ними»
Евангелие от Матфея*

По русским и немцам закопанным
беззвучно звонят колокольни,
когда комиссар Лев Копелев
проходит по кладбищу в Кёльне.
Чего только в жизни не пил,
да все равно не допил,
и сорок пятого пепел
на сапогах еще тепел.
На каске звездочка красная,
но светится только вполсилы,
и тени он не отбрасывает
на бывших врагов могилы.
Призраки необудительны,
на них не скрипят португели.
Победой над победителями
закончилась эпопея.
Понять ветераны-герои
как проиграли —
не могут.
Он понял.
Он вышел из строя.
И он поэту молод.
Не признавая мести,
идеалист с пистолетом,
он женщин спасал немецких,
Россию спасая при этом.
Кладбищем круглым вращается
Земля в двадцатом столетии.
Молодость возвращается
только ценою смерти.
Своих идеалов копия,
из коммунистов изгнан,
идет по кладбищу Копелев

открыто выступал с общественной трибуны против цензуры, защищал диссидентов, и его квартира бывшего комиссара на Красноармейской улице превратилась в штаб борьбы за права человека. Пепел крестьянских икон, сожженных когда-то им и его товарищами при коллективизации тридцатого года, превратился, как в «Тиле Уленшпигеля», в пепел Клааса, стучавший в его сердце.

В конце концов Копелева опять исключили из партии, уволили с работы, «выдавили» за границу. Человек, имевший мужество раскаться, был живым упреком всем тем, кто трусил это сделать. Может быть, если бы у Хрущева, впервые назвавшего Сталина убийцей, хватило бы смелости сказать, что он и



Последний идеалист

В Германии, но не в России, открыт музей Льва Копелева

призраком коммунизма.
Его сапоги беззвучные
в крови от боев и боен.
Он был не убит лишь по случаю
капралом Генрихом Бёллем.
А этого «фрица» в морозы
провидчески обогнули
в предчувствии бёллевской прозы
копелевские пули.
Во всех наших войнах, погромах,
где только убийства — заслуга,
нет большей победы, чем промах
в еще незнакомого друга.
Трагически создало время
русской культурой крещенных
евроусских — особое племя
евреев, с Россией сращенных.
Тропинкой кладбищенской, узкой,
где можно не торопиться,
приходит великий евруссский
к могиле великого «фрица».
И после гулагов, гетто,
больших и маленьких герник,
не ожидая ответа,
слышится: «Здравствуй, Генрих...»
А из глубин, у тропинки
всходят за словом слово
тихо колебля травинки:
«А, это ты, Лёва...»
И, если, надежд не наследуя,
вымрут, как могикане,
идеалисты последние
в будущем, как в Магадане,
то некто с туманным ликом
на небе то чистом, то мгlistом
останется вечным, великим
последним идеалистом.

сам виноват в преступлениях сталинского времени, и во искупление своей вины последовательно начал перестройку в 1956-м, за тридцать лет до Горбачева, то не было бы ни подавления восстания в Венгрии, ни дела Пастернака, ни наших танков в Праге, ни войны в Афганистане, ни диссидентских процессов, ни распада СССР. Но перестройка, к сожалению, произошла запоздало — через двадцать лет бржежневского застоя, морально разложившего общество, и наша демократия закономерно оказалась тоже коррумпированной, и почти никто из диссидентов не вернулся насовсем, потому что они совсем не нужны были новой власти. Правда, вернулся Солженицын, но при его выступлении перед депутата-

ми Думы они откровенно зевали, а его недолгую телевизионную передачу бестактно закрыли. Все кончилось тем, что он не принял правительственного ордена, и это было закономерно... Еще более пророческим образом чем с Бёллем, судьба соединила за колочей проволокой Копелева с другим будущим Нобелевским лауреатом. Солженицын и Копелев хотели бороться против той же самой бюрократии — только совсем за противоположные идеи. Солженицын ненавидел советскую власть и ждал сделать все, чтобы ее разрушить. Копелев, как многие другие коммунисты-идеалисты, надеялся ее улучшить. Копелев до ареста и даже некоторое время после ареста был самым искренним политическим Дон Кихотом. Его возлюбленной — Дульсинеи Тобосской — была мечта о социализме, и он пытался закрывать глаза на кровь и грязь, по которым приходилось идти к этой мечте его разбитым влрыз сапогам пропагандиста собственного самообмана.

Но за колочей проволокой Копелев увидел реальное лицо своей Дульсинеи — палаческое, животное, самодовольное лицо торговки совестью, увидел кровь на ее жирных руках, которые она протянула к нему, чтобы ты ли обнять его, ты ли задуть. Дон Кихот внутри Копелева все-таки выжил, хотя и с хрустнувшими шейными позвонками. Но поменял Дульсинею Революции на новую Дульсинею фрустрированных российских донкихотов — Демократию, надеясь, что хотя бы она его не обманет.

Лагерный оппонент Копелева — Солженицын, хотя сам в этом вряд ли признается, тоже был особым Дон Кихотом, но его Дульсинеей была отнюдь не Революция или Демократия (эту вторую даму он, по-моему, еще больше терпеть не может, чем первую), а Россия дореволюционная, патриархальная, православная, монархическая, земская... Кто же из двух этих оппонентов победил в этом историческом давнем споре?

Проигравшие — выигрывают

КОПЕЛЕВ выглядит сейчас проигравшим, как и многие диссиденты-демократы, ибо демократия в России еще очень гоголевская — недемократичная,

хамовато-ноздревская, капризно-нестабильная, воровато-взяточная, и очень хочется, чтобы наконец приехал настоящий Ревизор...

Солженицын тоже выглядит проигравшим, ибо столь нежно любимые им коммунисты представляют сейчас большинство в Думе и даже неумолимо крестьян на церковных богослужениях, хотя их непослушные партийные пальцы никак не складываются в православную щепоть, а бесчисленные Матрены в наших по-прежнему голодных деревнях до сих пор еле выживают...

Но ни Копелев, ни Солженицын на самом деле еще не проиграли. Их традиционный спор западника и славнофила может решиться не обязательно выигрышем только одного из них, но и совместным выигрышем сохранения национальной культуры при усвоении всего лучшего из культуры мировой. Вспомним хотя бы пример Пушкина, который сразу был и западником и славнофилом.

Ни Копелев, ни Солженицын пока еще не выиграли окончательно, но все равно они уже выиграли столько настоящего и будущих душ на земле, которым после прочтения их книг совесть никогда не позволит стать тиранами, стукачами или просто бессловесными государственными животными.

А разве окончательно выиграл Пастернак, во время холодной войны поставивший историю любви Лары и Юрия выше истории как таковой и этим впервые соединивший читательскими слезами мир, казалось, неизбежно расколотый надвое?

А разве окончательно выиграл Христос, и Будда, и Данте, и Шекспир, и Эйнштейн?

Да и есть ли окончательно выигранный в человеческой мысли, обращенной в бесконечность?

Только бы не забывать тропинки, ведущие к тем, кто думали и жили для нас, — в том числе и тропинку к Генриху Бёллю, и тропинку к Льву Копелеву...

ФОТО ИЗ АРХИВА